Асмодей Денница



ШИРИН

Из-за острова

18+

Асмодей Денница

ШИРИН. Из-за острова

«Автор»
2026

Денница А.

ШИРИН. Из-за острова / А. Денница — «Автор», 2026

Темное славянское фэнтези о девушке, которую не берёт вода, об атамане Степане Разине, который говорит с реками, — и о двери на дне Хвалынского моря, которую нельзя открывать. Но которую невозможно не открыть.С тех пор как Ширин, дочь начальника порта в персидском Астрабаде, научилась видеть мёртвых, она знает: вода её помнит. Утопленники выходят на берег только ради неё — и беззвучно шепчут одно-единственное слово: «Открой». Бабка-водяная предрекла ей судьбу рода: в тот день, когда город повернётся лицом к морю и с моря придёт беда, девушку бросят в волну. Она не утонет. Но морю от этого будет только хуже. Потому что Ширин — не жертва. Ширин — дверь.Когда на горизонте, над замершим, как перед прыжком, Каспием, встают чёрные паруса, Астрабад сгорает. Ширин теряет отца — вода забирает его, чтобы получить её. И выносит её на струг Степана Разина, атамана, которого не берут ни сабля, ни пуля, потому что он и сам давно заговорён водой.

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Дева на воде 5
Глава 1. Жемчужина на ладони 15
Глава 2. Чёрные паруса 25
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Асмодей Денница
ШИРИН. Из-за острова

Пролог. Дева на воде

««Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…»— народная песня»

Во сне я умирала в воде.

Сны не страшные, пока не просыпаешься наполовину и не понимаешь, что вода холодная по-настоящему, что она смыкается над головой, как ладонь, — медленная, тёплая, всепрощающая.

Каспий у Астрабада к зиме остывает, но в моём сне он был тёплым, как парное молоко. Темнота зеленоватая, слоистая. Вода ждала, когда я перестану барахтаться, а я честно старалась: человек, которого топят, обязан сопротивляться, иначе это не утопление, а согласие. А соглашаться нельзя.

— Не тони, — сказал кто-то. Голос шёл снизу, из зелёной глубины, и был ласковый, как у матери, которую я не помнила. — Не тони, сладкая. Тебя нельзя.

Слова в воде тяжелеют и падают на дно раньше, чем успеваешь их разобрать. Но рука, державшая меня за щиколотку, была тёплой, и я поняла ясно и спокойно: не тонешь — значит, держат.

Потом меня вынесло. Море выплюнуло меня, как косточку от персика. Я лежала на спине, волна перекатывалась через лицо, не давая вдохнуть, но и не утаскивая вниз. Надо мной было небо — серое, с рваными краями, и по нему плыл чёрный парус.

Я проснулась от собственного всхлипа. Соль во рту. Воды в лёгких не было — была жажда, будто я целую ночь глотала песок. Над Астрабадом стояла тьма, какая бывает перед рассветом. За дощатой перегородкой дышали тётки. У меня дрожали руки.

Третья ночь. Третий раз за неделю. Сны не повторяются дословно, а этот повторялся: тот же спуск, та же рука на щиколотке, то же «не тони, сладкая», тот же чёрный парус. Примета. Знак. Дурное начало года — говорят на базаре, когда хотят сказать: будет беда.

Я села на циновке и стала считать удары сердца: раз, два, три — мимо шёл ночной сторож. Четыре, пять, шесть — у причала плеснула веслом вода. Семь, восемь — и я вспомнила бабку Шираз, которую в городе звали водяной: она принимала роды у рыбачек и лечила утопленников.

Мне нужно к ней. Не завтра. Сейчас.

Астрабад стоял на краю мира: лицом к морю, спиной к горам. Дома лепились друг к другу, как чешуя; воздух был густой, пропитанный смолой и рыбой. Отец мой, хаджи Ильяс, начальник порта, говорил: Астрабад — печать на краю неизвестного, и потому всякий, кто живёт здесь, должен уметь торговаться, молиться и ждать.

У меня в груди стояла холодная игла: то ли из сна, то ли из слов бабки, то ли из тех чёрных парусов, которых, кроме меня, никто не видел.

Или видели?

У городских ворот толпился народ, и лица у всех были такие, как бывает, когда люди обсуждают то, во что боятся верить.

— …три дня пути, говорят, — басом гудел возчик. — Взяли город на том берегу, аж до моря вышли. Людей повырезали, а кого не вырезали — к себе в лодки забрали.

— Брешут, — сказала торговка зеленью, но голос у неё дрожал.

— Кому брехать? Караван с юга пришёл. Купцы шепчутся, а у самих глаза по ложке. Русы спустились по реке до моря: море их носит туда-сюда, города жжёт.

— Русы? — переспросила я.

Возчик глянул на меня — худая, босая, в ночной рубахе, поверх которой накинут отцовский халат, — и смягчился:

— Русы, дева. Атаман у них из вольных казаков, что на Дону живут. Стенькой звать. — Он понизил голос. — Ни сабля его не берёт, ни пуля. Потому что он, слышь, с чёртом знается.

— С чёртом, — эхом повторила торговка и перекрестилась быстро и испуганно.

— С чёртом, — веско сказал возчик. — Иначе с чего бы ему по воде ходить, аки посуху?

Я отошла от ворот, чувствуя, как игла в груди поворачивается. По воде ходить. Я стояла на воде всю ночь, во сне. У меня во рту снова была соль. Я выплюнула её, но она вернулась.

Дома меня ждал отец. Он сидел во дворе под тутовым деревом, на перевёрнутом глиняном горшке, и пил чай из пиалы. Высокий, сухой, с обветренным тёмным лицом человека, много лет смотрящего на море. Он никогда не кричал: море научило его, что крик на воде бесполезен, слышно только слово.

— Гуляла, — сказал он, и это был не вопрос, а утверждение, с той мягкой интонацией, когда отцу известно, где была дочь, но он делает вид, что спрашивает.

— Не спалось. Ты же знаешь, я люблю рассвет.

— Ты любишь воду, — поправил отец, и что-то в его голосе дрогнуло. — Всю жизнь, дочка, ты любишь воду больше, чем положено. Мать твоя была такая же.

Я села напротив. Тётки хлопотали в доме — звон посуды, запах лепёшек, недовольный голос старшей, Айши, которая всегда всем была недовольна, потому что такова её должность. Сёстры покойной матери, они вели хозяйство и тихо воевали за право быть главной скорбью о моей мамке.

— Отец. У ворот говорят про корабли. Про русов, что пришли с севера по большой реке. Говорят, они город взяли на том берегу.

Отец помолчал. Поставил пиалу, посмотрел на солнце над крышами, и лицо его на миг стало совсем старым — не от возраста, а от того, что он знал, о чём я говорю, и знал это не от меня.

— Знаю. Мне ночью дозорный с маяка доложил. Стоят на рейде, не подходят. Пока не подходят.

— Их много. Больше, чем я насчитала.

Он поднял на меня глаза — изучающе, как смотрел на горизонт, когда решал, какому ветру верить.

— Откуда ты знаешь, дочка, сколько их?

Я отвела взгляд. Отвечать нечестно я не умела, а отец всегда видел меня насквозь.

— Сон видела. Будто их много, и будто они по одну сторону, а я — по другую, и вода между нами не держит.

Отец долго молчал. Потом поднялся, подошёл и положил тёплую шершавую ладонь мне на макушку — так, как делал, когда я была маленькой и боялась грозы.

— Сон — это сон. А корабли — это корабли. Утром отправлю гонца в Решт, к шахскому наместнику: пусть пришлёт флот. А ты, дочка, — он поцеловал меня в лоб, — не смей больше бегать к воде по утрам. Слышишь? Море сегодня недоброе.

— Отец, я не боюсь моря.

— Я знаю, что не боишься, — сказал он. — Я боюсь за то, кого море к тебе приведёт.

К вечеру я выскользнула через заднюю калитку — не к морю, а в другую сторону, где за глиняными стенами лежало старое кладбище, а за ним песчаный мыс, с которого видно дальше, чем с любого причала. Меня не тянуло туда. Меня вело.

На мысу было пусто. И тогда я их увидела.

Они стояли в воде по пояс, по грудь, рядами, будто войско, ожидающее команды. Рыбаки в мокрых рубахах, женщины с распущенными волосами, дети, которых я не знала, — все лицом к морю, к чёрным парусам на горизонте, и все молчали. Так молчат люди, когда ждут того, что не хотят называть вслух.

— Гляди, — раздался голос рядом.

На краю обрыва стояла девушка — в мокром платье, с чёрными волосами, облепившими лицо. На год-два старше меня, и она была мёртвой — я чувствовала это кожей, тем холодом, что идёт от них, как сырость из подвала. Она смотрела не на паруса. Она смотрела на меня.

— Ты меня видишь, — сказала она, и это не было вопросом. — Ты единственная, кто видит. Я ждала тебя три дня.

— Кто ты?

— Лейла. Из дома керманского торговца, что на Менном базаре. Меня утопили в цистерне неделю назад.

У меня внутри всё оборвалось. Неделю назад на базаре говорили, что утонула дочь торговца — упала в цистерну ночью. Недобрая смерть, без свидетелей; тело нашли на третий день.

— Зачем ты ждала меня?

Лейла улыбнулась — мокрой, неживой улыбкой, от которой у меня похолодела спина:

— Чтобы сказать тебе. Они пришли не за городом, не за добычей, не за золотом, хотя возьмут и золото, и город. Они пришли за тобой, сладкая. Тот, кто идёт по воде, идёт за дверью. А дверь — это ты.

— Откуда ты знаешь?

— Они сказали, — Лейла повела рукой в сторону моря. — Сказали вчера ночью, когда вода начала говорить. Все, кто ждёт, — мы все слышали. Река приказала нам ждать тебя.

— Река? Это море. Каспий.

— Это не море, — сказала Лейла, и глаза её на миг стали тёмными, как вода в колодце. — Это река, которая забыла, что она река, и решила, что она море. Но вода помнит. Вода всегда помнит, откуда пришла. И она помнит, что ты — её.

Она шагнула к обрыву, и я впервые испугалась — не за себя, а той ясностью, что от этих парусов некуда деться. Всё, о чём говорила бабка, — правда, и я — дверь, и она уже открывается.

— Куда ты? — крикнула я, когда Лейла шагнула с обрыва. Но она не упала. Вошла в воздух, как входят в воду, — и растворилась, и только ветер донёс издалека её голос:

— Жди завтрашней ночи. Придут. Не бойся. Ты не утонешь, сладкая. Ты не утонешь.

Отец не спал. Он ждал меня у калитки, и в руке у него был узелок с вещами.

— Утром, — сказал он, не давая мне заговорить. — До свету. Отвезу тебя в горы, к сестре твоей матери, в Каа. Там нет моря. Там ты будешь в безопасности, пока не уйдут корабли.

— Отец…

— Не спорь, — сказал он, и в голосе было столько стали, сколько я не слышала никогда. — Я знаю, что ты видишь. Знаю про твою мать. Знаю, почему она ушла к воде, а не умерла в постели. И не дам тебе повторить её судьбу.

Он прижал меня к себе — крепко, жарко, как в детстве, — и я уткнулась лицом в его пропахшую смолой рубаху и расплакалась впервые за много лет. Не от страха. От любви: он всё знал и берёг меня от правды, которую я носила в себе, не зная, что она чужая.

— Прости меня. Я не хотела, чтобы ты боялся за меня.

— Глупая. Я боюсь за тебя с той ночи, когда ты родилась и твоя мать сказала мне: «Она моя, Ильяс. Она вся моя. Береги её от воды». Что я мог? Я берёг тебя семнадцать лет. Ещё одну ночь продержусь.

Он поцеловал меня в лоб, развернул и легонько подтолкнул в дом:

— Спи. С рассветом выезжаем. Всё будет хорошо.

Я легла на циновку, укрылась с головой. Но вместо зелёной тёплой воды мне снилась чёрная, и в ней мерно, как сердце, открывалась и закрывалась дверь — огромная, на самом дне, и все, кого я видела за жизнь, стояли перед ней и ждали, когда я приду и открою. В первом ряду стояла мать — живая, молодая, с глазами цвета глубокой воды, — и я знала, что она говорит:

— Не открывай, рыбка. Не открывай. Держи.

Я проснулась с криком, но до рассвета оставалось ещё много времени, а отец сидел у калитки, не смыкая глаз.

Дальше всё случилось быстро, как вода уходит из-под ног на отмели.

Мы выехали до свету. Отец взял двух лошадей — старую гнедую для меня и горбоносую горячую для себя — и мы пошли в горы той тропой, что огибает болота и выводит к Каа, к тётке Зубейде, что держит маслобойню и не верит ни в бога, ни в шайтана, а только в хорошее масло.

К полудню мы поднялись выше, потянуло можжевельником. Каспий остался внизу, в дымке, как чужой сон. Я думала: больше я к нему не вернусь, не открою, не стану дверью.

Как же я была глупа.

Мы не дошли до Каа. У горной речки лошади встали как вкопанные, будто упёрлись в невидимую стену. Гнедая захрапела, попятилась — и я увидела, что она дрожит. Мокрая. Вся мокрая, хотя воды рядом не было: только ручей в трёх шагах.

— Стой, — сказал отец чужим голосом. — Не слезай. Не подходи к воде.

Я и не собиралась. Я смотрела на ручей — и видела, что он течёт не в ту сторону.

Ручей бежал под гору, как и положено ручью. Но по самой поверхности струя двигалась обратно, вверх по склону, тонкая, серебристая. Как будто поверхность воды была отдельным существом, и ей было не по пути с ручьём.

— Отец, — прошептала я. — Вода…

— Знаю, — сказал он ровно, как человек, который давно ждал этого и теперь просто не даёт себе испугаться. — Не смотри на неё, дочка. Она тебя слышит.

Но я уже смотрела. Я всегда смотрела. И струя почувствовала взгляд — замедлилась, изогнулась, потянулась ко мне, как тянется к свету плющ, — и вдруг у самых моих ног вода стала подниматься столбиком, прозрачным, беззвучным. На высоту колена. Моей талии. Моей груди.

— Ширин! — крикнул отец. — Не смотри!

— Я не могу не смотреть. — Отвести взгляд от воды, когда она тянется к тебе, — всё равно что отвести взгляд от матери, которую узнал после долгой разлуки. Эта вода была своя, родная, она ждала меня и звала.

Столбик замер на высоте груди. Он был ровный, гладкий, как стекло, и в его сердцевине я увидела лицо.

Женщина. Незнакомая и до боли знакомая — та, что снилась мне и стояла в первом ряду у двери. Моя мать. Молодая, как на картинке, которую отец прятал от меня в сундуке, — но живая.

— Рыбка моя, — сказала она, и голос шёл не из столба, а из-под земли, из самого русла, и был такой, каким я помнила его и не помнила одновременно — тёплый, низкий, чуть хриплый. — Зачем ты уходишь?

— Мама. Я думала, ты умерла.

— Я не умерла, рыбка. Я стала. Так становились все женщины нашего рода с тех пор, как первую из нас кинули в море и она не утонула. Мы не умираем. Мы ждём ту, что придёт после. Ждём ту, что откроет.

— Откроет что? — Я слышала свой голос будто со стороны, тонкий, детский.

— Дверь. Дверь на дне. Ты придёшь к ней сама. И когда придёшь — не отпирай. Сколько бы ни просили, сколько бы ни плакали, не отпирай. Мир за дверью не для живых, рыбка. Он для нас. А ты — живая. Ты должна жить.

— А если они заставят?

Она рассмеялась — тихо, водой, перебирая гальку:

— Заставить нельзя. Отпереть дверь можно только самой. Своей рукой, по своей воле. Поэтому никому не дай своей воли. Никому, слышишь? Ниже-то…

Голос её пошёл рябью, столб вздрогнул, начал опадать — и вдруг рывком, будто кто-то дёрнул его снизу, ушёл в русло; только круги побежали по ручью, и понесло по ним щепку, сверху вниз, как и положено течению.

— Мама! — крикнула я, рванувшись вперёд.

— Стой! — Отец железной рукой поймал меня за плечо. — Не ходи туда. Хватит. Слышишь, хватит!

Я билась в его руках, как рыба, и плакала, а отец держал меня и повторял в волосы, как заклинание:

— Тихо, тихо, рыбка. Она не хотела тебя напугать. Она тебя любит — потому и сказала такое. Она знает, что делаешь ты, когда любишь: говоришь правду, даже если она страшная.

— Отец, она сказала «ниже»… — Я всхлипнула, перебирая в памяти её слова. — «Ниже-то…» Не договорила. Что-то ниже. Глубже? На дне? Что там?

— Не знаю, дочка, — сказал он наконец, и я поняла, что он впервые говорил со мной без защиты. — Твоя мать не договорила. Твоя бабка, когда уходила в воду, говорила моей матери что-то про дно. Но никто не вернулся рассказать. Кроме твоей матери — и она не успела.

— Почему она не успела?

— Потому что я забрал тебя. — Он смотрел мне в глаза, и я видела слёзы, которых он никогда не позволял себе при мне. — Я забрал тебя у воды, когда тебе было девять. Не дал ей уйти за тобой. Это моя вина. Но я не мог отдать тебя. Ты — живая, и я не отдам тебя дну.

Мы стояли так на тропе у ручья, пока небо над нами не потемнело.

— Всё, — сказал отец, вытирая лицо ладонью. — Едем в Каа. Там вода — только в колодце, и то по ведру.

Но до Каа мы не доехали и во второй раз.

На перевале нас ждали. Три всадника вышли из-за скал, когда тропа сузилась, — в пыльных кафтанах, с кривыми саблями, с лицами, закрытыми до глаз платками. Разбойники. Отец остановился, положил руку на рукоять ножа, спокойно, без суеты.

— Отдай девку, — сказал старший, и голос у него был гнусавый, как у человека, который гнил изнутри. — Отдай, и поедешь дальше с лошадьми. А не отдашь — лошадей возьмём, девку возьмём, а тебя, старика, воронам покинем.

— У меня нет денег, — спокойно сказал отец. — Только лошади и дочь. Лошади ваши, если хотите. Дочь — нет.

— Мы не за деньгами, — сказал гнусавый, и от того, как он это сказал — весело, играючи, — у меня по спине пробежал холод. — Нам сказали: на перевале будет девка. Чернявая, глазастая. Взять её и везти к морю. Кто приказал — не наше дело. Наше дело — привезти.

Отец соскользнул с лошади — плавно, как сходят в воду, — и выхватил нож, длинный, кривой, с выщербленной рукоятью.

— Дочка, — сказал он, не оборачиваясь. — За моей спиной. Несись в Каа. Не оглядывайся.

— Отец…

— Несись! — крикнул он, и гнедая подо мной прыгнула с места, как ошпаренная.

Я не помню, как мы летели по тому перевалу. Помню ветер, соль в глазах, крики за спиной, свист сабли, конское ржание — и больше ничего, пока гнедая не споткнулась на спуске и не выбросила меня из седла. Я поднялась, шатаясь: за спиной у меня поднимался дым.

Чёрный, густой, жирный — горело там, где мы оставили отца.

Я бежала назад, как бежит вода вниз по склону. Гнедая, обезумевшая, неслась мимо меня к городу. Камни рвали босые ноги, и когда я выбежала на перевал, то увидела:

отец стоял на коленях у края обрыва, живой, целый, — а вокруг полукругом стояли те трое. Они смотрели, как он смотрит вниз, в ущелье, где в тумане угадывалась вода — горная речка, та самая, что текла вспять утром.

— Посмотри на неё, — говорил гнусавый, и голос его сочился довольством. — Посмотри, как она течёт. Куда надо. Она тебя помнит, старик. Знает, что ты увёз её дочку, и обиделась.

— Она не обижается, — тихо сказал отец. — Воды не обижаются. Они помнят.

Он поднялся с колен, повернулся ко мне — и я увидела его лицо, спокойное, как у человека, который уже всё решил. Так смотрят при прощании.

— Дочка, — сказал он негромко, не обращая внимания на разбойников. — Я сделал, что мог. Берёг тебя семнадцать лет. Прости, что не уберёг до конца.

— Отец, не говори так. — Я шагнула к нему, и гнусавый перехватил меня за руку, цепко, как коршун. — Пусти!

— Держи девку, — сказал он двум другим, но те не двигались. Они смотрели мимо меня — вниз, на речку, на туман, и лица у них под платками были странные, неживые.

И тогда я поняла, что мы стоим не одни.

Вода.

Она текла, как и положено, но полнее, быстрее, и в ней поднимались силуэты. Люди. Рыбаки в мокрых рубахах. Женщины с волосами, тянущимися по течению, как водоросли. Дети. Они шли по воде вверх, против течения, как по дороге, — молча, рядами, и все смотрели на отца.

— Видишь? — ласково сказал гнусавый. — Она за ним пришла. Она всегда приходит за своими.

— Отец! — крикнула я, рванувшись, и разбойник дёрнул меня назад, прижал локтем к груди. — Беги, они же тебя не тронут!

— Дочка, — сказал он, поворачиваясь ко мне, и в голосе была такая тихая сила, что я перестала дышать. — Она не заберёт меня. Она заберёт тебя, если я не заберу её место. А я старый, своё пожил. — Он повернулся к гнусавому. — Пусти. Я сам подойду. Только дай попрощаться.

Разбойник хмыкнул, но отпустил меня — нехотя, на шаг. Я рванулась к отцу, и он обнял меня крепко, жарко, как в последний раз, и прошептал в волосы:

— Слушай меня, рыбка. Они отдадут тебя тем, кто на кораблях. Не сопротивляйся. Плыви по течению. Живи, чего бы это ни стоило. Однажды ты сама решишь, открывать эту дверь или нет. Я люблю тебя, Ширин. И мать твоя любит.

— Отец, не надо! — Я схватила его за рубаху, но он мягко разжал мои пальцы, поцеловал меня в лоб и отступил к краю обрыва.

— Ильяс! — крикнула я. — Стой!

Он не остановился. Шагнул к самому краю, и я видела, как снизу, из тумана, тянутся к нему мокрые руки — много рук, живых, как к старому другу.

— Не надо! — кричала я, рвясь из рук гнусавого. — Не отдавай им себя, отец, они мёртвые!

— А я, дочка, — сказал он, оборачиваясь, и улыбнулся той улыбкой, какою улыбаются дети перед самым сладким сном, — а я всю жизнь ждал, когда за мной придёт вода. Прости, что не сказал раньше. Думал, успею вырастить тебя, и тогда она придёт за мной одна, и ты не увидишь.

Он шагнул с обрыва.

Я закричала так, что горло сорвало, и видела, как отец падает в туман, в воду, в поднятые к нему руки, — и не слышала всплеска. Вообще. Они приняли его беззвучно, как принимают своё.

А потом туман над речкой стал подниматься — белый, тёплый, — и из него вышли трое, в кафтанах, мокрых до нитки, с лицами белёсыми, как у людей, которых долго держали под водой. Они подошли к гнусавому, и тот побледнел, попятился, забормотал что-то.

— Мы сделали, как ты велел, — сказал один, и голос у него шёл, как из колодца. — Мы привели её. Привели девку к воде. Теперь она наша.

И тогда всё потемнело. Помню голос гнусавого, ставший вдруг тонким и жалобным:

— Мы её вам отдали, как договаривались! Как договаривались, отдали! Зачем вы нас? Мы же люди, мы по уговору…

Дальше — вода. Много воды: в ушах, во рту, в волосах. Она несла меня, и я не тонула, плыла, как щепка на стрежне, и вокруг шли мокрые люди, и я слышала, как говорит за них вода:

— Не бойся. Мы не тронем. Ты — наша. Ты — ключ. Ты — дверь. Мы ждали тебя так долго.

— Куда вы меня везёте? — спросила я, и голос мой был тихий, чужой.

— Туда, где вода встречается с небом. К тому, кто ходит по воде. К тому, кто идёт за дверью. К атаману.

Я открыла глаза.

Я лежала на спине, на мокром дне лодки, и надо мной было небо — тяжёлое, серое, с рваными краями, и по нему плыл чёрный парус.

Тот самый. Парус из моего сна.

Разбойников в лодке не было. Были я, мокрые вёсла и на корме — мальчишка лет четырнадцати, белобрысый, конопатый, — и он грёб, не оглядываясь, к чёрному стругу, что стоял впереди, в тумане, как гора.

— Эй, — сказала я, и голос сел. — Мальчик. Ты кто?

Он не обернулся. Грёб ровно, сильно, не по-детски, и когда до струга осталось вёсел десять, сказал, не поворачивая головы, голосом, какой бывает у людей, привыкших молчать:

— Меня звать Васятка. Я гребу к атаману. Ты — та самая, что не тонет. Атаман велел тебя привезти, как придёшь.

— Откуда он знал, что я приду?

Васятка обернулся — и я увидела его глаза: серые, спокойные, взрослые не по годам.

— Атаман всё знает. Атаман на дно смотрел. Там тебя и увидел. В воде. Ты там уже была, барышня. Только ещё не утонула.

А я лежала и не тонула. Как и было обещано.

Туман расступался. Приближался чёрный струг, и на носу его, положив руку на саблю, стоял человек — высокий, смуглый, с чёрной бородой, с глазами, которые смотрели на воду, как на ровный знакомый путь. Мне почудилось, будто он стоит не на палубе, а на самой воде — и вода его держит.

Он смотрел на меня. Я, лёжа, смотрела на него.

И я узнала его глаза: те самые, что я видела на дне, в зелёной слоистой тьме моего сна, — когда рука держала меня за щиколотку и голос говорил: «Не тони, сладкая. Тебя нельзя».

Лодка ткнулась носом в борт струга. Васятка бросил вёсла, встал на колени. А человек на носу шагнул к борту, наклонился, протянул мне руку — сухую, сильную, тёмную от солнца:

— Слазь, девка. Не бойся. Я не тону, и ты не утонешь. Пойдёшь со мной до конца воды. Пойдёшь?

И я, сама не зная почему, взяла его за руку.

Потом, гораздо позже, я узнала, как называется этот человек.

Его звали **Степан Тимофеевич Разин**.

Он не отпустил мою руку, когда я встала на палубу. Держал её легко, но так, что я поняла: это не приветствие, это осмотр. Он изучал мою ладонь, как читают письмо.

— Рука лёгкая, — сказал он и улыбнулся, и от улыбки этой, тёплой и страшной одновременно, у меня мурашки пошли по спине. — Хорошая примета. А глаза тяжёлые. Такими смотрят на дно. — Он кивнул в сторону кормы. — Пойдём. Я тебя накормлю. У нас не в обычае держать голодных.

Я пошла за ним, как за водой — без выбора. Струг был огромный, тёмный, скрипучий, пахло смолой и рыбой. На банках сидели люди — гребцы, казаки, я не умела их различать, — и все смотрели на меня не голодно, а любопытно, почтительно, будто видели вещь, про которую много слышали.

— Есть на корабле девка, что не тонет, — сказал кто-то негромко, и по рядам прошёл шепоток.

— Цыц, — бросил Разин, не оборачиваясь, и стало тихо.

Он привёл меня в носовую рубку, где на столе стояла миска с ухой, тёплый хлеб, лук. Я не ела со вчерашнего полдня — и всё же смотрела на еду смутно, как сквозь воду: внутри было не голодно, а пусто.

— Ешь, — сказал Разин, садясь напротив. — Я подожду. Вопросы потом.

Я взяла ложку, заставила себя проглотить первую — и вдруг поняла, как я голодна. Я ела, обжигаясь, а он сидел напротив, подперев подбородок рукой, и смотрел на меня, как смотрят на огонь.

— Ну, — сказал он, когда я отодвинула пустую миску. — Теперь давай говорить. Ты — Ширин, дочь Ильяса, начальника порта в Астрабаде.

Я похолодела. Откуда он знает моё имя? Откуда знает отца?

— Не пугайся, — сказал он, будто прочитав мои мысли. — Про тебя вся вода говорит. Давно. Я тебя ещё на том берегу заприметил, когда мы город брали. Ты по причалу шла, а за тобой по воде следы шли — не от тебя, а к тебе. Заложные за тобой идут, девка. Знаешь?

Я молчала. Он кивнул, будто я ответила.

— Знаешь. Значит, и про дверь знаешь. И про дно. И про то, что ты — ключ. — Он налил чарку, выпил, не поморщившись. — Худо тебе, девка. Но скажу вот что: если ты дверь, то и тебе, и мне по пути. Мне нужен ключ. Тебе нужна защита. А я умею защищать, — усмешка была невесёлая, — и умею брать. Ну что, идём со мной? Я тебя не продам, не брошу, не утоплю. Слово моё крепкое, водой скреплённое.

Он протянул мне руку через стол — уже не для пожатия, а для договора.

И я, вместо того чтобы отшатнуться, думала чужую для себя мысль: если я и впрямь дверь, то лучше, чтобы за мою спину встал тот, кто умеет брать, а не тот, кто умеет только просить. Отец берёг меня от воды. А этот сам был водой и предлагал не прятаться, а идти.

— Идём, — сказала я, и голос был тихий, но ровный.

Разин хлопнул ладонью по столу, засмеялся, и смех у него был широкий, весёлый, как разлив:

— Славно, девка! Теперь ты моя. Не как пленница — как товарищ. У нас на Дону так: кто с нами в струге — тот брат, и сестра тоже брат. Запомни.

Он вышел на палубу, а я осталась сидеть, сжимая пустую миску, и слушала, как за стеной — команды, хлопанье паруса, скрип уключин. Струг тронулся.

Я вышла и увидела, как мы отходим от тумана, от гор, от того берега, где остались дым и мой отец, — в открытую воду, туда, где небо сходилось с морем в одну серую широкую линию.

На корме, поставив ногу на борт, стоял Разин и смотрел на разводящуюся перед стругом воду. Рядом сидел Васятка. А за кормой шла вода — тёмная, жирная, родная, — и в ней шли следом мокрые люди. Я их всегда видела. И они шли за мной.

— Не бойся, — сказала я себе, ветру, воде. — Ты не утонешь, сладкая.

Три дня я жила на струге, как живут во сне: не просыпаясь и не засыпая по-настоящему.

Казаки не трогали меня — никто не подошёл, не спросил, не взял за руку. Они смотрели издалека и шептались, и я чувствовала их взгляды, как сырость перед дождём. Только Васятка был рядом: приносил хлеб и воду, не глядя. Однажды вечером у борта он сел рядом и сказал:

— Ты не бойся, барышня. Атаман добрый. Он никого не бросает.

— А меня?

— И тебя не бросит. Он сам сказал: ты — наша вода. А свою воду атаман не бросает.

— Они идут за нами, — сказала я Васятке.

— Знаю, — сказал он ровно, как вода в глубоком месте. — Они всегда идут за атаманом. А теперь и за тобой.

— Это плохо?

— Не знаю, — сказал Васятка и улыбнулся по-детски, и от этой улыбки у меня отлегло от сердца. — Атаман говорит: за кем идут мёртвые, тот живой. Ты, выходит, очень даже живая.

Я — дверь, но я живая. И пока живая — держу.

Держу закрытой.

Атаман позвал меня к себе на третий день.

Он сидел на корме, на сложенной парусине, и рядом лежала карта — не бумажная, а натянутая на кожаную доску, с выжженными линиями берегов.

— Садись, девка. Гляди. — Он ткнул пальцем в тёмное пятно у самого края. — Вот тут мы. Хвалынское море. А вот тут, — он провёл пальцем вдоль берега, — Персия. Богатые берега. Золотые.

— Вы идёте за золотом?

Он долго молчал. Потом сказал, и голос был тихий, как вода по камню:

— За золотом, девка, идут дураки. Я иду за волей. Золото — оно как вода: поминай как звали. А воля — навсегда. За ней идёт вся Русь. А золото, — он усмехнулся, — само прилипнет, коли сила есть.

— Атаман, а у меня есть воля?

Он посмотрел на меня долго, внимательно, и в глазах мелькнула тёплая усмешка:

— Есть, девка. Дверь без воли — не дверь, а проходная арка, которую любой откроет. А ты — с волей. Я это сразу глянул, когда ты за руку мою взялась: ты сама пошла. Вот и держи её. Не отдавай никому. Ни мне, ни дну, ни Вериге.

— Кто такой Верига? — спросила я, и внутри всё похолодело от одного этого имени.

Разин помолчал, и лицо его стало серьёзным:

— Верига — дьяк. Чернокнижник из Астрахани. Ловец заложных. Слуга церкви и государя. Он ставит заслоны на реках, чтобы слово моё не доходило до городов, и ловит таких, как ты, — ключников, дверей, двоевидящих. Он давно ищет тебя.

— И что будет, если он меня найдёт?

— А вот этого я тебе не скажу. Не хочу пугать. Скажу одно: пока ты со мной, на моих стругах, он тебя не достанет. Я — вода. Я тебя укрываю. А дальше — поглядим.

А пока — море. Струг. Атаман. И вода, которая течёт до конца.

Ночь перед выходом в открытое море я не спала. Я стояла на носу и смотрела на воду.

— Не спится, девка? — раздался голос за спиной.

Разин стоял в двух шагах, с чаркой в руке, и в лунном свете лицо его было тёмным, спокойным, как сама вода.

— Не спится. Вода не даёт.

— Вода никогда не даёт, — сказал он и усмехнулся. — Она берёт. А тебя она берёт к себе. Потихоньку. Ты это чувствуешь?

— Чувствую. Она тянет. Она хочет, чтобы я открыла дверь.

— А ты не открывай. Ты держи. Я много чего видел: и города горевшие, и людей, которых вода забрала. Дверь не для того, чтобы открывать, а для того, чтобы знать, где она. А кто знает, где дверь, — тот и хозяин. Ты — хозяйка, девка.

— Атаман, а вы? Вы — хозяин двери?

Он долго молчал. Потом сказал тихо, как вода по камню:

— Я, девка, не дверь. Я — слово. Слово и дверь — из одного места, из дна, да разные. Слово зовёт. Дверь пускает. Я зову — а ты решаешь. Так что воля у тебя. И ты ею не разбрасывайся.

Он допил чарку, поставил её на борт и ушёл, а я осталась стоять на носу и думать о том, что он сказал: дверь — для того, чтобы знать, где она.

А я знала. Она была во мне. И она ждала.

Утром мы вышли в открытое море.

Берег таял за кормой, горы становились плоскими, и я смотрела, как Астрабад — мой город, мой дом, моё прошлое — уходит за горизонт, становится памятью.

— Не жалей, — сказал Васятка, подходя. — Чего жалеть, чего не воротишь. Вода — она вперёд только течёт.

— Вода вперёд, — повторила я.

— Вперёд, — сказал он и кивнул туда, где небо сходилось с морем в одну серую линию. — И мы вперёд. А что там, впереди, — то вода решит. Она всё решает.

Впереди была Персия, золотые берега, война, путь. А позади — Астрабад, отец, мать, бабка Шираз, чёрные паруса, дверь на дне. Позади была вся прежняя жизнь. И она кончилась.

И я, Ширин, дочь Ильяса, девка, которая не тонет, дверь, которая держит, — стояла на корме разбойничьего струга, смотрела вперёд, на всё, что должно было случиться, — и держала дверь закрытой.

Держала. Потому что: Море отдаёт тому, кто не боится его ждать. А я — я больше не ждала. Я шла. До конца воды.

Глава 1. Жемчужина на ладони

«Город стоял у моря, как похищенный у неба камень» — легенда Астрабада

Мир, в котором я выросла, был маленьким и тёплым, как ладонь, сложенная лодочкой.

Астрабад — серый, глиняный, жаркий — лежал на берегу Каспия, на краю света, где земля кончалась так внезапно, что с причала видна была только вода, бесконечная, тёмная, живая. Отец говорил: Астрабад — жемчужина на ладони у моря. Я росла с этой картиной и не знала, что ладонь может сомкнуться.

Знала я только свой маленький мир: дом с двором, где росло тутовое дерево, тётки — три сестры покойной матери, — гавань, где пахло смолой, рыбой и жареным луком, и отец, высокий, сухой, молчаливый.

Отец. Хаджи Ильяс, начальник порта. Он был для меня как берег для воды: я знала, что он есть, и не думала о нём, пока он был рядом. Не обнимал долго — скупо, как обнимают вещь, которую не хочется выпускать из рук. Он просто был — тихий и надёжный, как сухая ладонь.

— Опять у воды, — говорил он, подходя на причале, и в голосе не было ни упрёка, ни удивления — только ровная, тёплая усталость. — Дочка, тебе бы домой. Вечером от воды сыростью тянет.

— Я не мёрзну, — говорила я.

— Ты не мёрзнешь, — соглашался он и смотрел на море, и лицо его становилось тем, каким я помню его до сих пор: обветренным, тёмным, с сеткой морщин вокруг глаз. — Ты, дочка, никогда не мёрзнешь у воды. Мать твоя была такая же.

Но море было не единственным, что окружало меня. Было ещё то, что я научилась не называть.

Всё началось в тот день, когда мне исполнилось тринадцать и я впервые увидела по-настоящему. Врачи и муллы сказали бы: дурной глаз, горячка, худое воспитание без матери. А я знаю, что это было.

Дело было у причала. Пришвартовалась лодка-рыбница, с неё сошёл человек — я помню его досих пор, хотя прошло пять лет. В мокрой рваной рубахе, босой, вода стекала с него, хотя небо было сухим, а солнце — злым, по-осеннему жёлтым. Он шёл вдоль причала, и никто не поворачивался к нему, и вдруг я поняла: они его не видят. Мальчишки шныряли у него под локтем, торговки зазывали сквозь него. А он шёл медленно, с лицом человека, который очень устал и не знает, куда ему теперь идти, потому что никуда не надо. У конца причала он посмотрел на воду и шагнул в неё. Без звука, без всплеска — как входят в дом.

Я не закричала. Смотрела, как на том месте расходится широкий круг. А вечером на базаре услышала: утром у причала опять нашли рыбака, которого прошлой осенью унесло штормом на турецких водах. Тело не нашли. Нашли только лодку — целую, сухую, будто её никто не покидал.

Говорили: «Вернулся, бедняга, посмотреть на дом».

С тех пор я стала замечать их. Не везде — но когда вода рядом, когда в воздухе есть сырость и соль, они выходят. Матросы с утонувших кораблей, рыбаки, которых море не отдало на похороны, отравленная невеста из соседнего квартала, хозяин харчевни, что утопился после того, как у него отобрали долг. Они стоят у воды и смотрят на живых с тоской, как смотрят на окно из тёплой комнаты на мороз.

Никто в Астрабаде об этом не знал. Я научилась не смотреть в лица толпы: среди них всегда попадаются заложные — если задержать взгляд дольше мгновения, они поворачиваются. А когда поворачиваются, им становится легче. А им не должно быть легче. Так говорила мамка, прежде чем ушла к воде.

— Не гляди на них, рыбка моя, — говорила она, прижимая мою голову к груди. — Не гляди, и они не узнают, что ты их видишь. А узнают — потянутся. А потянутся — не отстанут. У них там тоска по живому, она сильнее голода.

— А куда они смотрят? — спрашивала я.

— На свои дома. На свою еду. На лица тех, кто их любил. — Мамка вздыхала. — Всё, чего они лишились.

Мамка ушла к воде, когда мне было девять. Она не умерла при людях — просто ушла в дождливый день на рынок и не вернулась. Через два дня выбросило у отмели её платок, синий, с белыми цветами, а на нём — ни следа. Мне сказали: несчастный случай. Но я видела её: она стояла у самой воды, смотрела на город, и тоска в глазах была такая же, как у того рыбака. Потом обернулась — и посмотрела прямо на меня.

Я тогда отвела глаза. Была маленькая и боялась сделать ей легче. Заложные не возвращаются. Они только смотрят.

— Ты какая-то странная стала, — говорила тётка Айша, старшая из трёх, та, что всегда всем недовольна. — Девка на выданье, а ведёт себя как отшельница.

— Она у отца в порту выросла, — отмахивалась тётка Зухра. — На воде выросла. Молчит, как молчит вода.

— Вода, вода, — ворчала Айша. — У всех вода. Ты гляди, чтобы эта её «вода» замуж не унесла.

Я молчала. Я не могла объяснить, что «вода» — не метафора, что она у меня в крови, и что каждое утро я считаю заложных: сколько у причала, сколько у колодца, сколько идёт за мной, пока я несу корзину с хлебом. Я считала их, как считают овец перед сном, — и это было моей тайной, моей болезнью, о которой не спрашивали.

Позже я узнала, что у этой болезни есть имя. Двоевидение. Дар видеть два мира. Тогда у меня не было имени — было только умение не смотреть.

И ещё было умение — держать. Я держала их взглядом, молчанием, волей. Я не знала тогда, что держу дверь.

Астрабад был не только моим домом — он был всем, что я знала о мире.

Город жил морем. Каждое утро гавань просыпалась: торговки расставляли лотки, рыбаки выходили в море, мальчишки таскали корзины с дынями, водонос катил бурдюк. Пахло смолой, рыбой, жареным луком и специями. Каждое слово здесь было о море: кто ушёл, кто вернулся, кого море не отдаст. Море было богом, кормильцем, врагом — всем сразу. И отцом моим.

Он был начальником порта, и я росла на причале, как растут на воде морские птицы. Я знала запах смолы раньше, чем запах розового масла; умела завязывать узлы раньше, чем писать; знала имена всех судов, капитанов, грузчиков — и все они знали меня. «Дочка Ильяса», — говорили они, и в голосах была та тёплая почтительность, какую люди держат для вещей, принадлежащих сильному человеку.

Отец брал меня в дозор. Мы шли вдоль берега, мимо складов и якорей, и он показывал мне мир: вот персидский купеческий струг, вот бухарский караван тюков с шёлком, вот рыбацкая лодка, которой нужно новое весло. Он учил меня смотреть на море — не глазами, а всеми чувствами сразу, — и слышать, что оно говорит. Я думала, что это просто прогулки с отцом.

— Море, дочка, — говорил он на мысу, — не прощает глупости. Оно не злое, не доброе. Оно вода. Оно берёт то, что ему отдаёшь, и отдаёт то, что ему отдают. Хочешь жить с морем — умей ждать, умей слушать, умей бояться. Хуже всего — не бояться вовсе.

— А ты боишься? — спрашивала я.

— Боюсь. И хорошо, что боюсь. Страх — это как маяк: он показывает, где лихо. Кто не боится — тот либо святой, либо дурак. А я, дочка, не святой.

Я смеялась. Он был для меня скалой, якорем, берегом. И я не знала, что все его «не стой у кромки», «не гляди на ту лодку», «не задерживайся после заката» — не капризы сурового отца, а охрана. Он охранял меня от воды.

Я узнала это позже. Слишком поздно.

Было ещё одно место, куда я ходила, когда становилось совсем невмоготу.

Хижина бабки Шираз на окраине, у самого моря, там, где дома сходились на нет и начиналась просто вода. У бабки не было двери — была занавеска из рогожи, пахло прогорклым маслом и ладаном, и входили к ней, как входят в воду: сразу, целиком. Она принимала роды у рыбачек, лечила утопленников, а иногда — я знала это, хотя никто не говорил вслух, — и мертвецов, выброшенных морем на отмель. В городе её называли водяной. За глаза. И с опаской.

Она была древняя, как соль, с лицом, изрезанным ветром в мелкую сетку, и глаза у неё были разные: один — как сухая земля, другой — как глубокая вода.

— Ты опять ходила к водяной? — спрашивала Айша, поджимая губы.

— Она не водяная. Она бабка Шираз.

— Бабка, бабка. Эта бабка всех наших мертвяков видела. Она с ними водится.

— А я нет, — говорила я и сама не знала, правду ли говорю.

Я ходила к ней, когда мне снилась вода: сны, в которых я тонула, сны, в которых вода не принимала меня, сны, в которых на дне была дверь. Я просыпалась с криком, с солью во рту, и не могла объяснить ни себе, ни тёткам, ни отцу, что это было. А бабка Шираз знала. Она всегда знала.

— Снова вода, — говорила она, не оборачиваясь, когда я входила. — Садись, дева. Сказывай.

И я сказывала. Про сон, про зелёную глубину, про руку, которая держала меня за щиколотку, про голос: «Не тони, сладкая. Тебя нельзя». Про чёрный парус наверху. Про дверь на дне.

— Не бойся, дева. Пока боишься — ты живая. Мёртвые не боятся.

— А если я не живая? Если я такая же, как они?

— Ты не такая, — говорила бабка, и разноглазый взгляд её становился тяжёлым. — Ты из тех, кого вода не берёт. Из тех, кто стоит между. Ты дверь, дева. Когда-нибудь ты это поймёшь. А пока держи.

— Что держать?

— Себя. Держи себя. Держи глаза. Держи волю. Не открывайся. Это всё, что я могу тебе сказать.

Я думала, она говорит про мою болезнь, про то, как не смотреть на заложных. Я не знала, что она говорит про дверь. Что она говорит про судьбу, которая уже висела надо мной, как висит над городом запах дыма, когда где-то на горизонте начинается пожар.

— Держи. Держи дверь закрытой. Держи волю. Держи себя. До конца воды.

Вечером того дня, когда мне в последний раз снилась дверь, я стояла на мысу, за кладбищем, и смотрела на море.

Было тихо. Так тихо, как не бывает над Каспием почти никогда: ни ветра, ни чаек, ни плеска. Вода лежала плоская, как медь, — без единой складки, — и от этой тишины мне было не по себе, как бывает, когда в доме вдруг становится слишком тихо, хотя только что были голоса.

— Тихий Каспий — это всё равно что тихий базар, — говорил отец. — Значит, где-то уже взялись за ножи.

А потом на горизонте, там, где вода сходилась с тёмным небом, я увидела паруса.

Чёрные паруса.

Их было много. Они не двигались — ветра не было, — и всё же шли, медленно, по одной лодке, выгребая из-за острова на простор, как будто их несла не стихия, а чья-то чужая воля.

У меня не было страха — было только холодное спокойствие, как будто я всю жизнь знала, что они придут.

— Жемчужина на ладони, — прошептала я ветру, воде, себе. — Ладонь-то закроется — и нет жемчужины.

Дома я не стала говорить о парусах ни отцу, ни тёткам. Легла на циновку, укрылась с головой. И во сне я снова стояла у двери — огромной, чёрной, на самом дне, — и все, кого я видела за свою жизнь, стояли перед ней, повернувшись ко мне лицами, и ждали.

— Я не открою, — сказала я им. — Я держу закрытой. До конца воды.

Они не ответили. Они стояли и ждали.

А утром, когда я вышла из дома, над Астрабадом уже поднимался ветер — ровный, тяжёлый, с моря, — и с ним приходил запах дыма.

Мой маленький тёплый мир кончался. Жемчужина лежала на ладони. И ладонь начинала смыкаться.

А пока я жила обычной жизнью астрабадской девки.

Утро начиналось с голосов тёток. Айша поднимала всех на рассвете: «Вставайте, солнце уже над морем, а вы дрыхнете!» — голос у неё был пронзительный, как чайка. Зухра шла на базар за зеленью и возвращалась с ворохом сплетен: «А знаете, что я слышала?» И только третья, Фатима, тихая, почти невидимая, молчала, как молчит вода, и ведала домом: мыла, стирала, штопала, и ни разу я не слышала, чтобы она жаловалась.

— Расскажи про море, — просила я Фатиму.

— Про какое море, рыбка?

— Про то, где дева, которую бросили в волну и которая не утонула.

И Фатима, глядя куда-то в тёмную воду за околицей, рассказывала. Песню про деву. Легенду. Сказку — как я думала тогда.

— Было это давно, — говорила она, и голос её становился низким и тягучим, как смола, — когда на этих берегах жило племя, и случилась засуха, и море ушло, и люди умирали, и старейшины решили: надо отдать морю невесту, самую красивую, самую честную, чтобы море смилостивилось и вернулось. И выбрали деву. Нарядили её, как на свадьбу, вывели на берег и бросили в волну. И она не утонула.

— Не утонула? — я знала эту сказку, но каждый раз делала вид, что слышу впервые.

— Не утонула. Ибо была она из рода тех, кого вода не берёт. Это, рыбка, верная примета: в каждом роду, где бывает такая дева, вода помечает свой род. Дева вернулась на берег, и родила дочь, и дочь её родила дочь, и так дошли они до наших дней. И говорят: когда придёт срок, когда город повернётся лицом к морю и с моря придёт беда, — воду снова будут кормить невестой из этого рода. И она снова не утонет.

— А что будет потом?

— Потом, — Фатима смотрела на меня долго, внимательно, — того, что было потом, ни одна живая не знает. Потому что ни одна не вернулась рассказать.

— Но ты же сказала, что дева вернулась…

— Вернулась, потому что не была ещё готова. А когда приходит срок — она не возвращается. Она становится дверью. И ждёт, пока её откроют.

Айша возмущалась: «Хватит стращать девку сказками!» — и Фатима замолкала, и вечер продолжался, и я шла спать, и мне снилась вода.

Я не знала тогда, что Фатима рассказывала не сказку. И что в этом роду — в роду девы, которую бросили в волну и которая не утонула, — я последняя.

По воскресеньям я ходила на базар с Зухрой.

Базар был сердцем Астрабада: крик, гам, мешанина языков и запахов, горы дынь, ряды серебра, клетки с птицами, корзины с рыбой. Зухра покупала зелень и торговалась с каждой торговкой, и каждая торговка рассказывала ей последние новости.

В тот день новость была такая: с юга, из Решта, пришёл корабль, и с ним — весть, что на том берегу видели неладное: чёрные струги с чужеземцами, которые жгут города, и жгут не просто так, а по какому-то слову, от которого люди сами отворяют ворота.

— Чёрные струги, — повторила я, и во рту стало солоно. — А люди… эти чужие, они кто?

— Кто их знает, — махнула рукой Зухра. — Русы, говорят. Казаки с Дону.

— Казаки?

— Ну да. Они там, на севере, за водами, живут. Вольные люди. Ни царя, ни падишаха не хотят. У них слово — закон, и атаман у них, сказывают, не человек, а вода: ни сабля его не берёт, ни пуля.

Я молчала. Я вспомнила утреннее море — тихое, плоское, ждущее. Чёрные паруса. Деву, которую бросили в волну.

— Стенькой его звать, — добавила Зухра, понижая голос. — Степаном. Атаманом Стенькой.

Я не знала тогда, что это имя войдёт в мой дом, в мою жизнь, в мою кровь, как входит вода. Я просто запомнила его. И зачем-то повторила про себя, как повторяют имена во сне:

— Стенька Разин.

И отчего-то у меня по спине побежали мурашки — не от страха. От того, что это имя было знакомо мне до того, как я его узнала.

А вечером того же дня был тот самый разговор с отцом.

Он сидел под тутовым деревом, пил чай из пиалы, и когда я села напротив, долго молчал, глядя на море, а потом сказал, и голос его был ровный, как вода в глубоком месте:

— Дочка. Я тебя вырастил. Я тебя берёг. Но есть вещи, от которых я тебя уберечь не могу.

— От чего, отец? — спросила я, и внутри всё замерло.

— От воды. Ты, дочка, вся от воды. Выросла у воды, и дар у тебя от воды, и кровь от воды. Я не могу уберечь тебя от того, что вода с тобой сделает. Могу только одно: научить тебя не бояться.

— Я не боюсь.

— Знаю. Ты не боишься. Я боюсь. Всю жизнь боюсь за тебя, с той ночи, когда ты родилась и твоя мать посмотрела мне в глаза и сказала: «Она моя, Ильяс. Она вся моя. Береги её от воды». Я берёг тебя семнадцать лет. Но море, дочка, сильнее меня.

— Отец, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Что ты говоришь?

— Правду. Ты жемчужина, дочка. Жемчужина на ладони у моря. И я держу эту ладонь, как могу. Но не вечно мне держать. Запомни: когда придёт беда — не сопротивляйся воде. Плыви. По течению. Живи. Живи, чего бы это ни стоило. Однажды ты всё поймёшь. И тогда сама решишь, как бы я ни хотел решить за тебя.

Он встал, подошёл ко мне и положил ладонь мне на макушку — тёплую, шершавую, надёжную.

— Ты моя, дочка. Ты всегда будешь моя, что бы ни случилось. И я всегда буду с тобой. Даже когда меня не будет рядом.

Я не поняла тогда его слов. Я поняла их позже, на перевале, когда он шагнул с обрыва в воду, к поднятым рукам мёртвых, — поняла, что он говорил мне прощание.

Был ещё один уголок моего мира — гавань. Дальняя, рыбацкая, куда отец позволял мне ходить одной: там стояли лёгкие лодки, сушились сети, и старые рыбаки чинили снасти, не глядя на меня. Я садилась на сваю, свешивала босые ноги над тёмной водой и слушала.

— Море, оно как женщина, — говорил старый Теймур, у которого было столько морщин, что лицо казалось картой далёких берегов. — Пока ты с ней ласков — она тебе отдаёт. А попробуй взять силой — утопит. И не потому, что злая. Потому что она вода, а вода силу уважает.

— А что море любит больше всего?

— Память, — отвечал Теймур и кивал на горизонт. — Море всё помнит, девка. Каждого, кто в него вошёл. Каждого, кого оно взяло. Каждую лодку, каждую беду. Море — это память воды. А память — это всё, что у нас есть.

— А если не уйдёт?

— Уйдёт. Они все уходят, если им не отвечать. Главное — не отвечать. Не открываться. Держи себя, девка. Держи.

«Держи». Все они говорили мне это слово — Теймур, бабка Шираз, мать, когда я была маленькой, отец, когда прощался, — и я не понимала, что оно единственное, что отделяет меня от того, чтобы шагнуть в воду и не вернуться.

А вода ждала. Вода всегда ждёт.

Однажды, за неделю до того, как всё случилось, я встретила на базаре бабку Шираз.

Она стояла у рыбного ряда, древняя, как соль, в тёмном платье, и перебирала чётки, которых никто в городе не видывал на ней раньше. Я подошла поздороваться, и она, не оборачиваясь, сказала тихо, скрипуче, будто сквозь песок:

— Будет большой ветер, девка.

— Какой ветер? — спросила я, и внутри всё похолодело, потому что я знала: она говорит не о погоде.

— Народная песня, — сказала она, и разноглазый взгляд её был тяжёлым, как вода на дне. — Так называют тот ветер, что поднимается, когда люди устают ждать. Он дует с моря, и он несёт с собой всё, что вода помнит. Он уже дует, девка. Готовься.

— К чему готовиться? — спросила я, и голос мой дрожал.

— К тому, что придёт. К смерти, к жизни, к воде, к себе. Ко всему сразу. Ты дверь. Дверь не выбирает, откуда ветер. Дверь выбирает — открывать или держать. Помни, что я тебе говорила. Держи.

Народная песня.

Но тогда я не знала. Я просто стояла и чувствовала ветер. И мне казалось, что я слышу в нём — далеко-далеко, за горизонтом, — как кто-то поёт. Про Волгу. Про волю. Про воду.

Так начиналась моя жизнь. И я ещё не знала, что она кончилась.

Той ночью мне снова приснилась дверь.

Я стояла на дне — не тонула, просто стояла, как стоят на земле, — и вокруг была вода: зелёная, слоистая, тёплая, как парное молоко. А передо мной была дверь. Огромная, чёрная, из камня, поросшая ракушками, с петлями, заросшими тиной, с щелью, из которой шёл тёплый свет. Она ждала меня, и я знала, что она ждала меня всю жизнь.

Я подошла. Положила ладонь на холодный, мокрый камень и почувствовала, как она отзывается, как узнаёт меня, как хочет, чтобы я открыла.

— Я не открою, — сказала я ей.

Она не ответила. Но я чувствовала, как она напрягается, как ждёт.

— Я не открою, — повторила я, и голос мой дрожал. — Я держу закрытой. До конца воды.

И тогда из-за двери, из тёмной щели, я услышала голос — тихий, тёплый, чуть хриплый, как у матери:

— Открой, рыбка. Открой. Там дом. Там всё, что ты ищешь. Там я.

— Я не открою, — сказала я, и слёзы текли по щекам, растворяясь в воде вокруг. — Даже для тебя, мама. Особенно для тебя. Я держу.

Дверь вздохнула. Вздохнула, как вздыхает море перед штормом, — и отступила, стала меньше, дальше, темнее, и я осталась одна на дне, и я держала.

— Проснись, — услышала я голос издалека. — Проснись, Ширин.

Я проснулась с криком, вся в поту, и надо мной стояла тётка Фатима — тихая, с чашкой мятного чая в руках, и в глазах её было то самое выражение, от которого мне становилось не по себе.

— Ты кричала во сне: «Не открою». Кому ты это говорила?

— Никому, — сказала я, и голос мой сел. — Это просто сон.

— Просто сон, — повторила Фатима, и она смотрела на меня долго, внимательно, и я чувствовала, что она знает больше, чем говорит. — Спи, рыбка. Утром всё пройдёт.

Утром всё не прошло.

Вечером того же дня отец не вернулся с дозора до темноты.

Я ждала его на причале, смотрела на море, которое к закату стало цвета старого свинца, и чувствовала, как оно дышит, как оно ждёт. Когда он наконец пришёл — с промокшими до колен штанами и лицом, обветренным до неузнаваемости, — я шагнула к нему, и он, не останавливаясь, положил ладонь мне на затылок, притянул к себе на миг и сказал тихо, в мои волосы:

— Завтра, дочка, я отвезу тебя в Каа, к тётке Зубейде. Собери вещи. Немного.

— Зачем? — спросила я, и внутри всё похолодело.

— Затем, что утром на горизонте были струги. Чёрные струги. Их много, дочка. Больше, чем я насчитал. И идут они к нам.

Я хотела сказать ему про сон, про дверь, про бабку Шираз, про то, что я видела паруса ещё позавчера, — но не сказала. Я знала, что он и так всё знает. Отец всегда знал больше, чем говорил.

— Я не боюсь.

— Знаю. Я боюсь. Я боюсь за тебя, дочка. Иди. Собирайся. С рассветом выезжаем.

Он ушёл в дом, а я осталась на причале, смотрела на тёмную, свинцовую воду, и не боялась. Я чувствовала только холодное спокойствие, как будто я всю жизнь ждала этого мига.

Всю ночь я не спала. Лежала, укрывшись с головой, и слушала, как дышит дом: тётки спали, отец не спал — ходил по двору, проверял ворота. И я слушала, как дышит море — ровно, как зверь, который изготовился к прыжку, — и знала, что завтра всё кончится.

Мой маленький тёплый мир. Тутовое дерево. Голоса тёток. Гавань, смола, рыба, лук. Отец, который пил чай под деревом. Всё это кончится завтра. А я — что будет со мной?

Перед рассветом я заснула — трудным, рваным сном, без снов, — и меня разбудил крик. Не человеческий. Чайки. Сотни чаек над гаванью, которые кричали так, как кричат только перед самым сильным штормом.

Я выбежала во двор. Было серое, неживое утро. Отец стоял у ворот, смотрел на море, и лицо его было каменным.

— Идут, — сказал он, не оборачиваясь. — Идут, дочка.

Я подошла и положила руку ему на локоть. Он был холодный, как камень.

— Я не уеду, отец.

— Уедешь.

— Не уеду, — сказала я. — Я жемчужина, которую ты бережёшь. Куда жемчужина от моря уйдёт? Море везде найдёт её.

Отец обернулся и посмотрел на меня — долго, внимательно, и в глазах его была любовь и боль, вместе, как вода, которая не знает, куда течь.

— Ты не жемчужина, дочка, — сказал он наконец. — Ты моя кровь. Ты моя жизнь. И я не отдам тебя никакому морю.

За ним, на горизонте, из-за острова, на простор выгребали чёрные паруса. Много. И они шли к нам.

— Отец, — сказала я, и слёзы текли по щекам, — я люблю тебя.

— И я тебя, дочка, — сказал он, и прижал меня к себе, крепко, жарко, как в последний раз. — И я тебя. Помни, что я тебе говорил. Плыви. Живи. Держи.

Он разжал руки, развернулся к воротам, к морю, к чёрным парусам, и я стояла за его спиной и смотрела, как приближается то, что должно было случиться, — и я держала дверь закрытой.

До конца воды.

Отец не дал мне уехать в Каа. Он сам понял, что это бессмысленно, что от моря не уйдёт никто, что жемчужину море найдёт в любом городе, за любой стеной. Он только сказал, глядя на чёрные паруса:

— Историю нашу, дочка, я тебе не рассказал. Не успел. А ты слушай теперь, потому что вернуться к этому разговору мы можем не успеть.

И он рассказал мне то, что скрывал семнадцать лет.

Про то, как встретил мою мать. Она была не из Астрабада — пришла с севера, из-за моря, из земель, где вода холодная, из какого-то русского городка, которого больше нет. Она была из рода тех, кого вода не берёт, и сама не знала об этом, пока не пришла к морю. А когда узнала — было поздно: вода уже помечала её.

— Я понял не сразу, — говорил отец. — Я думал, она просто любит море, как любят его все, кто живёт у воды. Потом я увидел, как она смотрит на толпу — сквозь неё, будто видит не тех, кто стоит рядом, а других, — и понял: она видит то, чего не вижу я.

— Заложных, — сказала я шёпотом.

— Заложных. Ты в неё, дочка. Вся в неё. Этот дар от неё. И это проклятие — тоже от неё. Я думал, что если буду держать тебя подальше от воды, оно не проснётся. Оно проснулось.

— Оно всегда было, отец. Оно проснулось, когда мне было тринадцать.

— Знаю. Я видел, как ты изменилась тогда. Я боялся спросить. Я боялся, что если назову это вслух — оно станет правдой, с которой нельзя будет жить.

— Оно и так правда, — сказала я, и голос мой дрожал. — Я вижу их, отец. Везде, где вода. И они ждут меня.

Отец долго молчал. Потом сказал, и голос его был тихий, как вода по камню:

— Тогда, дочка, ты знай одно. Что бы они ни ждали, что бы ни звали — ты держи. Ты человек. Ты живая. Ты моя кровь. Никакая вода, никакая дверь, никакое дно не смеет взять тебя, пока ты сама не откроешь. А ты не откроешь. Я знаю.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что ты моя. Потому что я тебя вырастил. Потому что я тебя знаю. Ты держишь. Ты всегда держала. Ты будешь держать до конца.

Он обнял меня, и я уткнулась лицом в его грудь, и чувствовала, как стучит его сердце — ровно, сильно, — и я держала его, и держала себя, и держала дверь закрытой. А за стенами росла на горизонте чернота: чёрные паруса, чёрная вода, чёрная судьба.

— Отец, а что будет со мной, когда они придут?

— Не знаю, дочка. Я знаю одно: что бы ни случилось — я буду с тобой. Даже когда меня не будет рядом. В воде, в памяти, в крови. Всегда.

Всю ночь перед приходом флота город не спал.

Перед рассветом ко мне вошла Фатима. Села на край циновки, долго молчала, а потом сказала, и голос её был тихий, как вода по камню:

— Ты знаешь, рыбка, почему я рассказывала тебе сказку про деву?

— Знаю, — сказала я. — Это была не сказка.

— Не сказка. Это наша кровь. Наша родовая память. Я не сестра твоей матери. Я её сестра по линии воды: мы из одного рода, из рода девы. Я тоже видела их, когда была молодой. Я тоже держала дверь. И я знаю, что это такое — когда вода зовёт, а ты не можешь открыть.

У меня всё внутри похолодело.

— Ты тоже видишь? — прошептала я.

— Видела. Пока не ослепла душой. Я выбрала не смотреть. Я выбрала молчать. Я выбрала быть тихой, незаметной, чтобы вода забыла обо мне. Она и забыла. А тебя не забудет, рыбка. Ты последняя в роду. Последняя дверь.

— Я не хочу быть дверью, — сказала я, и голос мой дрожал.

— Никто не хочет. Но ты дверь. И ты будешь держать. Я знаю. Ты сильнее, чем я. Ты сильнее, чем все мы.

Она наклонилась, поцеловала меня в лоб и вышла, и я осталась лежать, и впервые за всю ночь заплакала. Не от страха. От того, что наконец узнала правду: я не одна такая. Я последняя, но не первая. И дверь, которую я держу, держали до меня.

— Я буду держать, — прошептала я в темноту. — Я буду держать. До конца воды.

А за стенами, на горизонте, уже всходило солнце — серое, неживое, как рассвет перед бедой, — и чёрные паруса уже шли к берегу.

А потом был рассвет.

Серый, неживой, как вся эта беда, — рассвет, когда город просыпается не от петухов, а от крика дозорного с маяка: «Корабли! Корабли идут!» — когда люди высыпают на пристань, когда все смотрят на море, а по морю, от горизонта, откуда не ждали, идут они.

Чёрные струги.

Я стояла на причале, рядом с отцом, и смотрела, как они идут. Медленно, ровно, неотвратимо, как идёт вода — как идёт всё, что должно случиться. Их было больше, чем я могла сосчитать, и они шли к Астрабаду, к нашему городу, к моему дому, к нам. Люди на пристани кричали, плакали, молились, но я не слышала их — я слышала только море, которое молчало, и это молчание было страшнее любого крика.

— Отец, — сказала я, — они идут к нам.

— Идут, дочка, — сказал он, и лицо его было каменным. — Идут по воду мою.

— Почему? Зачем им наш город? У нас нет золота. У нас нет серебра. У нас нет ничего, ради чего жгут города.

Отец долго молчал. Он смотрел на чёрные струги, и лицо его было тем, каким я помню его до сих пор.

— У них есть своя правда, дочка. У них есть своя воля. И они идут за ней. А город просто лежит у них на пути. Как лежит на пути камень, как лежит на пути ветка, как лежит на пути всё, что не успело отойти.

— А мы? Мы отойдём?

— Мы не отойдём. Мы будем. Что бы ни случилось. А ты держи.

— Что нам делать?

— Нам делать нечего. Мы маленький город. У нас нет войска, нет флота, нет стен, чтобы выдержать осаду. Мы можем только одно: не кланяться.

— Не кланяться? — переспросила я.

— Не кланяться. Что бы ни случилось. Встретить их стоя. Потому что если встретим стоя — они, может быть, и сожгут наш дом, но не заберут нашу душу. А если будем кланяться — заберут и дом, и душу, и память.

Я смотрела на чёрные струги и чувствовала, как его слова входят в меня, как становятся моими. Не кланяться. Встретить стоя. Что бы ни случилось.

— Отец, а если они убьют тебя?

Он посмотрел на меня — долго, внимательно, и в глазах его была любовь, и боль, и гордость, вместе, как вода, которая не знает, куда течь.

— Тогда, дочка, ты будешь жить за меня. Ты моя кровь. Ты моя жизнь. Ты будешь жить, и ты будешь помнить, и ты будешь держать. Это всё, что я прошу у тебя.

Он взял меня за руку, и мы стояли так, на причале, на рассвете, а чёрные струги шли к нам по морю, как шла ко мне вся моя жизнь.

А потом они пришли.

Они пришли не с боем. Они пришли со словом.

Я не понимала их языка — это были русские, чужие слова, гортанные, жёсткие, — но я понимала другое: я понимала, что они говорят. Говорил человек, стоявший на носу первого струга, — высокий, тёмный, смуглый, с чёрной бородой, в алом кафтане, — и каждое его слово было мне понятно, как будто он говорил не голосом, а самой водой.

— …всем чернью и голытьбою — воля, а боярам — смерть! — говорил он, и я слышала его так, как слышит всякий, кто стоит у воды: не ушами, а самим телом, той особой дрожью, что всегда предвещала заложных.

— Отец, — сказала я, и голос мой дрожал. — Я понимаю его. Я не знаю языка, но понимаю каждое слово.

Отец посмотрел на меня — долго, внимательно, и в лице его было не удивление, не страх, а ровная, тяжёлая печаль.

— Это потому, дочка, что это не просто слово. Это Слово. Оно живое. Оно идёт по воде. Оно входит в каждого, кто слышит, на его языке. Это магия, дочка. Магия воды.

— Магия воды, — повторила я, и во рту у меня стало солоно.

— Магия. И она сильнее, чем всё, что я знаю. Она поднимает людей, как вода поднимает всё, что лежит на дне. И против неё, дочка, мы не устоим.

Я смотрела на берег, на людей, которые слушали чужого человека на струге, — и видела, как они меняются. Как перестают бояться. Как начинают верить. Как отворяются — не воротами, сердцами — и как идут к пристани, к стругам, к этому человеку, к его слову, к его воле.

— Воля! — кричали люди. — Воля пришла!

А я стояла на причале, рядом с отцом, и смотрела, как мой маленький тёплый мир растворяется в этом слове, как он тает, как становится памятью, — и чувствовала, как дверь во мне, та самая, которую я держала закрытой, начинает дрожать.

Не от страха.

От слова.

От Слова, которое шло по воде, которое входило в каждого на его языке, которое будило всех — и живых, и мёртвых.

Слово, которое жжёт.

Так кончалась первая глава.

Так начиналась вторая.

И вторую я, Ширин, дочь Ильяса, девка, которая не тонет, дверь, которая держит, — расскажу вам в свой срок.

А пока — пока я стояла на причале, и ладонь смыкалась вокруг жемчужины.

Смыкалась навсегда.

До конца воды.

Глава 2. Чёрные паруса

«Море отдаёт тому, кто не боится его ждать» — персидская пословица»

Они не начинали с пожара.

Я думала, война начинается с дыма, с криков, с блеска сабель; что враг, приходящий по воде, должен сперва сжечь причал, выломать ворота, убить стражу — и только потом говорить. Я ошиблась. Они начали со слова.

Первый струг подошёл на вёслах — тихо, без барабанов и труб. С него сошёл человек, не воин и не разбойник, а худощавый, смуглый, в простой рубахе, с пергаментом в руке, и люди расступались перед ним не от страха, а потому что от него шло то, чему нельзя противиться. Он поднялся на возвышение у ворот и начал читать.

— Всем чернью и голытьбою — воля, а боярам — смерть, — читал он, и голос был негромкий, но слышно было каждое слово, потому что вокруг стояла та тишина, какая бывает, когда слушают не голос, а саму воду. — Степан Тимофеевич Разин, атаман донской, шлёт вам слово своё. Отворяйте ворота, дайте хлеба и воды, и никто вас не тронет. А кто супротив станет — тому смерть. Воля вам будет, земля вам будет, суд вам будет по правде. Идите к нам, кто верит.

Я слышала его так, как слышат все, кто стоит у воды: не ушами, а телом, той дрожью, что всегда предвещала заложных. Я не знала этого языка, я выросла в Астрабаде, где говорят по-персидски и по-тюркски, — но понимала каждое слово, будто вода переводила его за меня.

Рыбаки, торговцы, грузчики слушали — и менялись: спадал вечный страх, в глазах загоралась надежда. Будто слово было не словом, а водой: она входила в них и утоляла жажду, которой они не знали за собой.

— Воля, — шептали люди. — Воля пришла.

И я держала себя, как учили меня все: бабка Шираз, Фатима, отец. Держи. Не открывайся.

— Отец, — сказала я, и голос дрожал. — Я не знаю языка, но понимаю каждое слово.

Я чувствовала, как дрожит его рука на моём плече.

— Это потому, дочка, — сказал он наконец хрипло, — что это не просто слово. Это — Слово. Оно живое. Идёт по воде. Входит в каждого на его языке. Это магия воды, дочка. И она сильнее всего, что я знаю.

— Что нам делать?

— Пока ничего. Мы — маленький город. Мы не устоим. Отворим ворота, дадим хлеба и воды, и, может быть, они уйдут, не тронув нас.

— А если не уйдут?

Он посмотрел на меня долго, и в глазах его была любовь, и боль, и гордость вместе, как вода, которая не знает, куда течь.

— Тогда, дочка, мы встретим их стоя. Мы не кланяемся. Что бы ни случилось.

Я смотрела, как Астрабад — мой дом, моя жемчужина — отворяется перед чужим словом.

А потом я почувствовала её. Ту дрожь, что всегда предвещала заложных, — только теперь она была сильнее, глубже, огромнее. Я обернулась к морю.

Они шли по воде.

Не струги — они. Те, кого я видела всю жизнь, кто стоял у берега, кто смотрел на живых с тоской, кто ждал. Они шли по воде, как по дороге, — мокрые, молчаливые, бесконечные, — к берегу, к городу, к слову, к новой воле. И их было больше, чем я видела когда-либо.

— Отец, — сказала я, и голос сел. — Ты видишь их?

— Кого, дочка?

— Тех, кто идёт за словом.

Отец долго смотрел на море, и я видела, как он силится увидеть то, что вижу я, — и не может.

— Не вижу, дочка, — сказал он, и в голосе был страх, которого я не слышала в нём никогда. — Но чувствую, что они есть. Чувствую, как вода холодеет.

Вода холодела — так холодеет всё, когда к нему приближается то, что нельзя отогнать. И я смотрела, как заложные идут за словом, как тянутся к нему.

И я поняла: слово атамана будит не только живых.

Оно будит мёртвых.

Они вошли в Астрабад без боя.

Ворота отворились, как отворились бы в любом городе, где люди устали ждать и поверили слову. Стражники опустили копья и смотрели, как по улицам идут чужие, как вывешивают знамя — тёмное, с белой птицей, — и как город, мой тёплый маленький мир, становится другим.

Ликования не было. Люди выходили на улицы, шептались, боялись и не боялись одновременно. Казаки не грабили — по крайней мере, пока. Занимали дворы, требовали хлеба и воды, и я ходила по городу и зябла, потому что видела то, чего не видели другие: за каждым казаком, за каждым стругом шли они.

Заложные. Мокрые, молчаливые, они стояли на углах, у колодцев, у кромки воды, смотрели на город, на волю, на жизнь, которой у них не было, и ждали.

— Отец, — сказала я вечером, когда мы сидели во дворе под тутовым деревом, — они повсюду. Их больше, чем живых. Они идут за казаками, как тени.

Отец долго молчал, глядя на тёмную воду за стенами.

— Я знаю, дочка, — сказал он наконец тихо, как вода по камню. — И боюсь не казаков. Казаки — люди, с ними можно договориться. А то, что идёт за ними, — с ним договориться нельзя. Его можно только держать.

— Держать?

— Держать дверь закрытой, дочка. Это всё, что мы можем. Всё, что умеет наш род.

Я смотрела на каменное лицо отца, на руки, которые никогда не дрожали при мне, и понимала: он держит меня от воды всю жизнь, держит тайну рода, держит дверь, которую я носила в себе, не зная об этом.

— Я буду держать, отец. До конца воды.

Он обнял меня крепко, жарко, как в детстве, и я уткнулась лицом в его пропахшую смолой рубаху и слышала, как ровно и сильно стучит его сердце.

И вода холодела.

На третий день пришёл сам атаман.

Сначала я его не видела — слышала. Город, уже привыкший к чужим дозорам, вдруг замер, как замирает всё перед большим ветром, и по улицам пробежало: «Атаман! Атаман идёт!»

Я стояла во дворе у тутового дерева и чувствовала, как вода — та, что текла под городом, — гудит, поёт, зовёт.

Он вошёл пешком, с десятком казаков, — высокий, тёмный, смуглый, с чёрной бородой, в алом кафтане, расшитом золотом. Люди расступались и смотрели так, как смотрят на того, о ком слышали много, но не верили, что увидят живым. А он шёл ровно, неспешно, как идёт вода, как идёт всё, что знает свою дорогу.

Атаман Стенька.

Человек, который ходит по воде.

Человек, которого не берёт ни сабля, ни пуля.

Человек, который говорит Словом.

Он не взглянул на меня. Прошёл мимо двора, мимо тутового дерева, как мимо всего города, — к причалу. Но когда он проходил, вода, что жила во мне, отозвалась ему. Как отзывается вода воде.

Он почувствовал.

Остановился на миг, обернулся — и посмотрел на меня. Не на город. На меня.

И в глазах его — тёмных, тёплых, с искрой, что мерцала, как угли под золой, — я увидела узнавание. Он знал, кто я. Я — дверь. И он шёл за дверью.

— Девка, — сказал он негромко, так, что слышала только я, и голос был низкий, тёплый, чуть хриплый, как в моих снах, — не гляди на меня так. Ты ещё не готова.

И пошёл дальше, к причалу, к воле.

А я стояла, и у меня подкашивались ноги, потому что я узнала голос.

Тот самый голос, что я слышала на дне, в зелёной, слоистой тьме сна, — когда рука держала меня за щиколотку и говорила: «Не тони, сладкая. Тебя нельзя».

Он был в моих снах. Он ждал меня. Он был тем, кто шёл за дверью. И я, Ширин, дочь Ильяса, девка, которая не тонет, — я была этой дверью.

Я вошла в дом, легла на циновку, укрылась с головой. Всю ночь я не спала. Держала дверь закрытой.

А наутро взяли отца.

Это случилось на рассвете.

Я проснулась от того, что во дворе было слишком тихо. Слишком тихо для дома, где с первыми лучами начиналась жизнь: голоса тёток, звон посуды, шаги отца.

Я выбежала. Тётки стояли у стены, бледные, как полотно. У ворот — трое казаков, и между ними, со связанными за спиной руками, отец.

— Отец! — крикнула я, рванувшись к нему.

— Стой, девка, — сказал старший, перехватывая меня за плечо. — Воеводам нашим ты не нужна. А батька твой нужен — он порт ведал, он нам суда даст и лоцманов.

— Отпустите его. Он ничего вам не сделал.

Отец смотрел долго, и в глазах его была любовь, и боль, и гордость вместе, как вода, которая не знает, куда течь.

— Не бойся, дочка. Я пойду с ними. Я им нужен живым. А ты оставайся с тётками и помни, что я говорил. Держи. Держи, дочка.

— Отец!

— Держи, — повторил он, и казаки повели его к воротам. Я рванулась было за ним, но тётка Айша удержала, прижала к себе, и я плакала и смотрела, как отца уводят по улице, мимо чужих знамён, к причалу, к стругам, к воде.

— Он вернётся, — шептала Айша, гладя меня по голове. — Им нужен порт. Они не тронут его.

— Вернётся, — вторила Фатима, и её тихий, как вода, голос был твёрже. — Твой отец — вода. А воду держат, но не ломают.

Я не знала тогда, что они ошибаются. Что отца я больше не увижу живым. Я стояла у тутового дерева и смотрела, как уводят мой мир.

А вода холодела. И ждала своего часа.

Отца увели на струг.

Я узнала об этом от Фатимы, вернувшейся с базара бледной, с чужим лицом:

— Его держат на большом струге, у причала. Сказывают, хотят, чтобы он провёл их к Решту, к шахским землям. Не тронут, пока он им нужен.

— А когда перестанет быть нужен?

Фатима не ответила. Только посмотрела долго, как смотрят на то, что нельзя спасти.

Весь день я ходила по дому как в воду опущенная, а вечером, когда тётки уснули, выскользнула из дома: вода звала, и там, на струге, был мой отец.

Я пробралась задами, через огороды и камыши, мимо дозорных, которые смотрели на воду, а не на берег, — и увидела его.

Он сидел на палубе, у мачты, со связанными руками, и смотрел на ту сторону, где был наш дом. И даже отсюда я видела его лицо: спокойное, каменное, как скала, на которой он стоял всю жизнь.

— Отец, — прошептала я. — Я здесь.

Он обернулся. Не на голос — я не звала вслух, — а будто услышал меня через воду, через ночь, и, посмотрев на берег, кивнул. Спокойно. Один раз. Как будто говорил: держи, дочка.

А потом я услышала шаги: по причалу шёл человек в алом кафтане. Атаман. Он встал у борта и сказал, и тихий голос долетел через воду, будто он говорил мне:

— Не бойся, батька. Ты проведёшь нас к Решту — и ступай с миром. Мы не воюем с теми, кто нам служит.

— А с теми, кто не служит? — спросил отец.

— С теми, кто не служит, — в голосе была сталь, — с теми мы воюем. Такова наша вода.

Утром я пошла на причал.

Не тайно, не задами — открыто, как шла всегда: я была дочерью начальника порта, и меня не остановили.

У большого струга стоял часовой. Я остановилась в двух шагах и сказала тихо, но ровно:

— Я дочь Ильяса, начальника порта. Я принесла ему хлеба.

Часовой — молодой, веснушчатый — сказал:

— Проходи, девка. Только быстро.

Я поднялась на палубу. Отец посмотрел на меня, и в глазах его были слёзы, которых он никогда не позволял себе при мне.

— Зачем ты пришла, дочка? Я же просил держаться подальше от них.

— Я не могу держаться подальше, отец. Ты — мой мир.

Он взял хлеб, но не стал есть. Смотрел долго — и потом сказал тихо, как вода по камню:

— Слушай, дочка. Мне сказали, что завтра мы уходим к Решту. Что я поведу их. И я поведу, потому что если поведу — они, может быть, оставят город целым, а тебя живой. Но запомни: что бы ни случилось, что бы ты ни услышала, — не иди за мной. Не ищи меня. Держись тёток, держи дверь.

— Отец. Я не хочу тебя терять.

— И я не хочу, — сказал он, притянул меня и обнял так, как не обнимал никогда, крепко, жарко, до хруста, и я слышала, как стучит его сердце, как бьётся вся его жизнь.

— Ты — жемчужина, дочка, — сказал он в мои волосы. — Жемчужина на ладони у моря. И я держу эту ладонь, как могу. А если не смогу — ты сама держи. Ты — моего рода. Ты — вода. А вода не тонет.

Он отстранился и кивнул:

— Иди, дочка. И помни, что я тебе говорил.

Я спустилась на причал и шла, не оглядываясь, и слёзы текли по щекам.

А за спиной, на струге, у мачты, сидел мой отец и смотрел на воду.

Они ушли на рассвете.

Я видела, как струги выходят из гавани ровно, неспешно, как идёт вода, как уходит на них мой отец, как уходит мой мир. Я стояла на причале рядом с Айшей и Зухрой и смотрела, как они тают на горизонте, — и не плакала.

Три дня мы жили как в воду опущенные: тётки молились и ждали вестей, город дышал чужими знамёнами, и потихоньку всё привыкало, как привыкает живое к новой воде.

А на четвёртый день пришла весть.

Не от отца. От воды.

Я стояла у причала, смотрела на море и вдруг почувствовала ту дрожь, что всегда предвещала заложных, — и увидела, как по воде, от горизонта, идёт она.

Не лодка. Не струг.

Лицо.

Лицо моей матери — молодое, с чёрными волосами, распущенными по плечам, — шло по воде, как идёт отражение, как идёт память, и смотрело на меня, и я слышала голос, тихий, тёплый, чуть хриплый:

— Рыбка моя. Твой отец ушёл к воде.

— Нет. Он ушёл с ними. Он поведёт их к Решту. Он вернётся.

— Он не вернётся, рыбка, — сказала мать, и лицо её было печальным, как осеннее море. — Он сделал свой выбор. Он выбрал тебя. Он отдал себя воде, чтобы вода не взяла тебя. Он — на дне. И просил передать тебе: держи.

Мир рушился.

— Нет! Он обещал вернуться! Он обещал держать ладонь!

— Он держал её, сколько мог. Держал семнадцать лет. А теперь отдал её тебе. Держи за него. Держи за меня. Держи за всех, кто уже не может держать.

Лицо растворилось, как растворяется в воде всё, что было и не было, — и я осталась одна на причале.

Мой отец ушёл к воде. Мой мир рухнул.

— Я буду держать, отец, — прошептала я в море. — За тебя. За мать. За всех.

И вода холодела. И ждала, когда откроется дверь.

Весть об отце пришла через неделю, когда казаки ушли дальше, оставив малый дозор. Пришла она не гонцом, не письмом — пришла водой.

Я шла по базару с Зухрой и остановилась среди корзин с рыбой: у колодца стоял человек — мокрый, в чужой одежде, с лицом, белёсым, как у тех, кого долго держали под водой. Он был из наших. Из Астрабада.

— Фарид, — прошептала я, узнавая грузчика с причала. — Тебя же увели с ними...

— Был, — сказал он, и голос шёл, как из колодца, глухо, тёпло. — Был, Ширин. А теперь — я есть, но меня нет. Я — заложный. Я утонул у Решта, когда струг разбило о камни вместе с лоцманом, с тем человеком, что вёл казаков.

— С каким лоцманом?

— С твоим отцом. С хаджи Ильясом. Он вёл казаков к Решту, и когда струг встал на мель, когда камни пробили дно, когда вода хлынула внутрь, — он сказал: «Бегите. Я вас выведу». И вывел. А сам шагнул в воду, как шагают навстречу старому другу, и вода приняла его.

Я стояла среди криков и запахов базара, и мир рушился.

— Он обещал вернуться. Он обещал держать ладонь.

— Он держал её семнадцать лет, — сказал Фарид, и в голосе была ровная, страшная неподвижность, как у воды, что замерла и ждёт. — А потом сделал то, что должен был. Он просил передать тебе: держи.

— Я не знаю, — сказала я, и слёзы текли по щекам. — Мать говорила: держи. Бабка говорила. Отец говорил. А что я держу?

Фарид смотрел долго, и в глазах его была тоска сильнее голода, сильнее жизни, сильнее смерти:

— Ты держишь дверь, Ширин. Ты — последняя в роду девы, которую бросили в волну и которая не утонула. Пока ты держишь — то, что за дверью, не выйдет. А откроешь — всё, что вода помнит, выйдет на свет, и мир захлебнётся. Держи, дочь Ильяса.

Он растворился, как растворяется в воде всё, что было и не было. Я вернулась домой, легла на циновку, укрылась с головой. Всю ночь не спала.

А потом пришла тётка Айша и сказала, что меня надо прятать.

Это случилось через два дня. Айша вернулась с базара бледная, со сведённым лицом, и сказала шёпотом, будто стены могли подслушать:

— Я слышала разговор. Один из дозорных говорил другому: «Атаман велел найти девку. Ту, что не тонет. Ту, что видит мёртвых. Она нужна нам, она — ключ ко Дну. Ищите её».

У меня всё внутри оборвалось.

— Ищут, — кивнула Айша, и лицо её было каменным, как у отца. — Говорят, атаман видел тебя, когда был здесь. Говорят, он узнал тебя. И они не уйдут, пока не найдут.

— Что же делать?

— Прятать. Увозить из города. Туда, где нет воды.

— Нет такого места, — сказала я. — Вода везде. В колодце, в ручье, в росе на траве. Вода во мне.

Айша посмотрела долго, и в глазах её были слёзы, которых она никогда не позволяла себе при мне:

— И всё же попробуем. Отвезём тебя в горы, в Каа, к тётке Зубейде. Там камни, сушь, соль, там нет большой воды. Может быть, там они тебя не найдут.

— А если вода найдёт меня и там?

Айша долго молчала. Потом сказала тихо, как вода по камню:

— Тогда ты будешь держать. Как держала мать, как держала бабка, как держал отец до последнего своего часа. Будешь держать — и, может быть, этого будет довольно.

Мы уезжали на рассвете.

Айша запрягла лошадь, накрыла меня рогожей, положила сверху мешки с зерном, и мы выехали через дальние ворота, мимо дозора, которого не было, потому что казаки ушли дальше.

Город оставался позади. Впереди были горы, соль, Каа. Я не верила, что получится спрятаться. Но ехала — потому что так велела Айша, потому что так завещал отец, потому что ладонь, которая держала жемчужину, была уже мертва, и я держала себя сама.

Но вода была впереди. И вода всегда находила своих.

Дорога в Каа заняла два дня.

Айша гнала лошадь нещадно, будто за нами гнались, и я лежала под рогожей, среди мешков, считала толчки повозки и молилась, кому — не знаю: воде, небу, дороге, — лишь бы мы успели.

На второй день, к вечеру, мы поднялись в горы.

Астрабад остался далеко внизу. Здесь не было моря, гавани, запаха смолы и рыбы. Был только камень, сушь, соль, можжевельник и тишина. Та тишина, какая бывает там, где нет воды.

— Ты видишь, дочка? — сказала Айша, сдёрнув с меня рогожу. — Здесь нет воды. Здесь они тебя не найдут.

Я встала на камень и посмотрела вниз, туда, где в дымке угадывался Астрабад.

— Здесь нет воды, — повторила я так же ровно. — Но вода во мне, тётка. Она не снаружи. Она внутри. Я не могу спрятаться от того, что ношу в себе.

Айша долго молчала.

— Может быть, ты и права, дочка, — сказала она наконец хрипло. — Но попробовать — надо. До Каа остался час.

Мы поехали дальше по горной тропе.

И вот тогда — где тропа подходила к самому краю обрыва, где внизу в тумане угадывалась вода ущелья, — лошадь остановилась.

Не испугалась. Остановилась, как останавливаются лошади, когда чуют то, чего не могут понять: невидимую стену, невидимый запрет, невидимую волю.

— Что с ней? — спросила Айша, дёргая повод.

Я посмотрела вниз и увидела то, что видела всегда.

Они стояли в воде ущелья, по пояс, по грудь, рядами, — заложные, — и смотрели вверх, на тропу, на меня, и ждали. Воды не было — а они были. Они были здесь, потому что были там, где я.

— Тётка. Они здесь. Они нашли меня.

— Кто, дочка? — Айша тоже смотрела вниз, и я видела, как она силится увидеть то, что вижу я, — и не может.

— Те, кто ждёт. Те, кто идёт за мной.

Айша перекрестилась быстро, испуганно, по-нашему, дёрнула повод, и лошадь рванула вперёд. Я не оглядывалась, но знала: они идут за нами. По камням, по сухости, по соли, — как шли за мной всю жизнь.

Вода нашла меня даже в горах.

Каа оказалась маленьким каменным селом, прилепившимся к склону, как ласточкино гнездо.

Дом тётки Зубейды был низким, каменным, с плоской крышей, с очагом, от которого пахло маслом и травами. Тётка Зубейда — сухая, как горсть камней, с лицом, изрезанным ветром, как старая кора, — встретила нас без удивления, будто ждала.

— Входи, дочка Ильяса. Я тебя ждала.

— Откуда вы знали?

— Вода мне сказала. Вода всегда говорит, когда идёт её. А ты идёшь не с нами. Ты идёшь с водой. Я это вижу с той поры, как родилась твоя мать и вода пометила наш род.

— Вы тоже из рода?

— Из рода. Я — старшая сестра твоей бабки, из рода девы, которую бросили в волну и которая не утонула. Я видела их, когда была молодой. Я держала дверь. А потом выбрала не видеть: ушла в горы, где нет воды, и заставила себя забыть. Но забыть воду нельзя, дочка. Она — в крови. Она — в роде. Она — в тебе.

— Я — последняя дверь в роду.

— Последняя. И потому самая важная. Я старая, мне мало осталось. Скажу тебе то, чего не говорила никому.

Она села у очага, я села напротив, и она заговорила тихо, размеренно, как говорят люди, которые знают, что их время коротко:

— Род наш начался давно, когда деву из племени бросили в волну, и она не утонула. С тех пор вода помечает наш род: в каждом поколении рождается дева, которую вода ведёт, которую зовёт, которая видит тех, кто ушёл. Мы — живые двери между мирами. Пока мы держим — то, что за дверью, не выходит.

— Что за дверью?

— Дно. Под водой, под землёй, под всем миром лежит Дно — подводная твердь, где вода хранит всё, что забрала. Там лежит чёрная руда — запас силы реки. Там — Врата. Кто владеет Вратами — владеет неуязвимостью войска и вторым крещением водой. А ты — ключ к Вратам, дочка. Не кладовщик — дверь. Тебя нельзя использовать, не сломав. Тебя можно открыть только по доброй воле.

— По доброй воле, — повторила я, и голос сел.

— По доброй воле. Никто не может открыть тебя против твоей воли. Ни атаман, ни дьяк, ни дно, ни сама вода. Поэтому — держи. Держи волю, дочка. Отдашь — и ты уже не дверь, а ключ, который вертят.

Я прожила в Каа три дня, помогала по хозяйству, ходила за водой к роднику, сушила травы — и три дня видела их: заложные стояли у родника, по пояс в ледяной воде, смотрели на меня и ждали.

— Они не уходят. Даже здесь, без моря, — они здесь.

— Знаю, дочка, — сказала тётка Зубейда, и смотрела на меня с той печалью, с какой смотрят на то, что нельзя спасти. — Здесь нет большой воды, но есть родник, есть роса, есть дождь. Вода везде. И она всегда находит своих.

А на четвёртый день в Каа пришли казаки.

Я увидела их с плоской крыши — отряд в десять человек, с саблями, с пищалями, идущий по тропе к селу, — и поняла, что вода привела их сюда.

— Тётка, они идут. Они нашли меня.

Тётка Зубейда посмотрела долго, и в глазах её не было страха. Только печаль.

— Я знала, что они придут. Иди к ним. Держи. Помни: воля — она одно на каждом. Не отдавай её никому.

Они обступили меня, и старший — молодой, светловолосый, в рубахе, перехваченной ремнём, с ножом за поясом, с улыбкой человека, которому всё нипочём, — сказал звонко, с лёгкой смешинкой:

— Ну, здравствуй, девка. Атаман велел тебя найти и доставить. Ты — та самая, что не тонет, так ведь? Пойдём. Не бойся. Мы не тронем. Атаман ждёт.

— Я не боюсь.

И я пошла с ними. Потому что вода звала. Потому что я — жемчужина на ладони у моря, а ладонь уже сомкнулась.

Чёрные паруса нашли меня даже в горах. И я шла на них — по своей воле.

Дорога обратно была другой.

Вниз, через перевалы, через серые скалы, через можжевельник — к морю, к Астрабаду. Я шла среди казаков, и они не трогали меня, не связывали, не толкали — шли вокруг, как идёт вода вокруг камня, — и старший, светловолосый, говорил, не умолкая.

— Ты не бойся. Мы тебя не тронем. Атаман велел найти и доставить — значит, доставим. У нас не в обычае обижать девок. Мы — казаки, мы за волю, а не за насилие.

— За волю, — повторила я тихо.

— За волю, — кивнул он и усмехнулся открыто, незлобиво, так, что вокруг него даже воздух, казалось, посветлел. — Воля, девка, — это всё. Земля, суд, жизнь без бояр и воевод. Атаман обещал — и слово держит. Мы пошли за ним, потому что он нам правду сказал. А правда, девка, — она как вода: её не остановить.

— Как вода, — сказала я, и внутри всё сжалось.

— Как вода, — подтвердил он и посмотрел на меня изучающе. — А ты, хоть и не казачка, а тоже из воды. Я же вижу. Атаман про тебя говорил: «Она — дверь. Она — ключ ко Дну».

— Не думай обо мне, — сказала я. — Дочь начальника порта. И всё.

Он усмехнулся:

— Ну-ну. Просто девка. Которая видит то, чего не видят другие. Которая не тонет, когда её бросают в воду. Которая стоит в горах, где нет воды, — а вода её всё равно находит. Нет, девка, ты не просто девка. Ты — вода. И мы — вода. Так что не бойся. Своя своих не обижает.

Вечером мы стали на ночлег у горного ручья.

Казаки развели костёр, достали хлеб, вяленую рыбу, лук, — и старший протянул мне краюху и ломоть:

— Ешь, девка. С утра не ела. В Каа-то тебя кормили?

— Кормили. Спасибо.

— Не за что, — сказал он и присел рядом, на камень, — долго молчал, глядя в огонь, а потом сказал тише, серьёзнее: — Слушай. Ты не бойся атамана. Он не злой. Он — как вода: берёт, что ему надо, и не спрашивает, чьё. Но он тебя не сломает, если ты сама не сломаешься.

— Зачем ты мне это говоришь? Ты — его человек. Ты должен вести меня к нему.

Он помолчал, потом усмехнулся — той светлой усмешкой, от которой у меня внутри что-то оттаивало, как оттаивает лёд весной:

— Не знаю, девка. Может, потому, что ты не похожа на тех, кого мы обычно берём. Ты не плачешь, не просишь, не кланяешься. Ты идёшь — как вода. И мне почему-то не хочется, чтобы ты утонула.

— Меня зовут Ширин.

— А меня Иван, — сказал он с той же лёгкой усмешкой. — Иван Вешняк. Толмач атаманов. По-ихнему, по-нашему, по-вашему — всё понимаю. Ты, коли что, — ко мне обращайся. Я помогу.

— Спасибо, Иван, — сказала я, и не знала, почему это имя отозвалось во мне, как отзывается вода воде.

Наутро мы спустились к морю.

Я увидела его с перевала — синее, бескрайнее, живое, — и у меня сжалось горло. Море. Мой дом. Моя вода. Я ушла от него в горы, чтобы спрятаться, а оно нашло меня, как находит всё, что принадлежит ему. — Ну, вот и море, — сказал Иван, стоя рядом. — Хвалынское море, Каспий, как вы его зовёте. Домой пришли.

— Это не мой дом.

— Вода — она всем дом, — сказал Иван и усмехнулся. — И живым, и мёртвым.

Я знала, что оно приняло моего отца, как принимает всех своих, — и что когда-нибудь придёт и за мной.

Мы спустились к берегу, к Астрабаду, к чёрным стругам, что стояли в гавани, как стояли всегда.

У головного струга стоял человек в алом кафтане, с чёрной бородой, с глазами, которые смотрели на воду так, как смотрят на ровный, знакомый путь. Он обернулся, когда мы подошли, и посмотрел на меня долго, с той искрой, что мерцала, как угли под золой.

— Ну, — сказал он, и голос был низкий, тёплый, чуть хриплый, как в моих снах, — доставили. Девка, что не тонет. Девка, что видит мёртвых. Девка — дверь. Здравствуй, Ширин, дочь Ильяса.

— Здравствуй, атаман.

Разин усмехнулся — той тёплой усмешкой, от которой у меня мурашки пошли по спине:

— А ты не боишься. Хорошо. Бояться будем потом, вместе, когда придёт час. А пока — иди, погляди на своё море, попрощайся. Завтра уходим.

— Куда?

— В Персию, — сказал Разин, и глаза его были тёмными, как вода на дне. — За зипунами, за добычей, за водой. Ты — наша. Пойдёшь с нами.

И я поняла, что это — начало. Что чёрные паруса нашли меня. Что ладонь сомкнулась. Навсегда.

Эту ночь я не спала.

Я стояла на причале, смотрела на тёмную, маслянистую воду и думала об отце, о матери, о бабке Шираз, о всех, кто держал до меня, — и молилась, кому — не знаю: воде, небу, звёздам, — лишь бы хватило сил держать и дальше.

— Не спишь, девка? — раздался голос за спиной.

Я обернулась. В двух шагах стоял Иван, и в лунном свете лицо его было спокойным, тёплым.

— Смотрю на море. Прощаюсь.

— С кем?

— С домом. С тем, чего больше не будет.

Иван долго молчал. Потом сказал тихо, ровно:

— А я, девка, с домом не прощался. У меня дома не было. Я с Дону, рос на стругах, на воде. Мой дом — это вода. Может, и твой тоже будет.

— Моя вода — не вода. Моя вода — это то, что я вижу. То, что ждёт. То, что я держу.

— И не объясняй, — сказал Иван. — Я и сам вижу, что ты не простая. У нас на Дону таких зовут двоевидящими. Боятся их и уважают. А я не боюсь: я — казак, я воды не боюсь. Я её люблю.

Я смотрела на него, и его слова согревали меня, как первый тёплый берег в чужом, страшном море.

— Иван. А что будет со мной, когда мы уйдём в Персию?

Он помолчал. Потом сказал тихо:

— Не знаю. Я знаю одно: что бы ни случилось — я буду рядом. Я — толмач. Я при атамане. И я при тебе — если ты захочешь.

— Захочу, — сказала я, и не знала, откуда во мне взялась эта уверенность, это тепло, эта надежда.

Он усмехнулся — той светлой усмешкой, от которой у меня внутри всё переворачивалось:

— Ну и ладно. Тогда — до завтра, дочь Ильяса.

— До завтра, — сказала я.

Он ушёл, а я осталась на причале.

А наутро мы ушли в Персию.

Чёрные паруса поднялись над стругами, и струги вышли из гавани, и Астрабад таял за кормой, как тает всё, что было и не было. Я стояла на корме и смотрела, как он становится маленьким, как исчезает.

Иван стоял рядом и молчал, и его рука на миг легла мне на плечо.

— Не гляди назад, девка, — сказал он тихо. — Вода — она вперёд только течёт.

— Вода — вперёд, — повторила я.

— Вперёд, — сказал Иван и кивнул в сторону горизонта. — И мы вперёд. А что там, впереди, — то вода решит. Она всё решает.

А за кормой, по воде, шли они.

Заложные.

Мокрые, молчаливые, бесконечные, они шли за стругами, как шли за мной всю жизнь, — и я знала, что будут идти, сколько бы мы ни шли, до конца воды.

— Я держу, — прошептала я в море.

Так начиналась моя жизнь на стругах. Так начинался мой путь к Персии, к золотым берегам, к войне, к воде, к двери. Так начинались чёрные паруса.

Море отдаёт тому, кто не боится его ждать.

А я больше не ждала. Я шла.

Три дня мы шли на юг, к берегам Персии.

Я стояла на палубе и училась жить на струге: спать на тёплых досках, под буркой, есть уху, которую варили на палубе.

Казаки привыкли ко мне быстро, смотрели с опаской и почтительным шёпотом — «та, что не тонет», «атаманова дверь», — но не трогали, потому что Иван был рядом, а его слово значило много.

— Ты быстро учишься, девка, — сказал он однажды вечером, когда я без ошибки повязала узел, которым крепят парус.

— Я — дочь начальника порта. Узлы у меня в крови.

— Вода у тебя в крови, — поправил он и усмехнулся.

— Ты не бойся, Ширин, — сказал он в другой раз, и впервые назвал меня по имени, не «девка», не «дочь Ильяса», а просто — Ширин. — Что бы ни ждало нас впереди, я рядом. Я тебя не оставлю.

— Почему? Ты меня не знаешь. Я — пленница. Я — добыча.

— А я тебя знаю. С той минуты, как увидел: ты стоишь на перевале, смотришь на море и не кланяешься. Ты не пленница и не добыча. Ты — вода. А вода своя

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.